

Адамо Соледад. Существо и невеста, ответившая отказом

Жанр произведения: Роман

Произведение написал автор BookBox Александр Бережной

Ссылка на публикацию

Это история существа, любящего мир и людей его населяющих, своей странной любовью, той что могла родиться лишь в сердце бессмертного созданий, и невесты, выбранной им.

Соберись сейчас под сводами собора все поэты этого мира, и им, этому сонму многоголосых певцов жизни, не хватило бы никаких слов для описания той красоты, которой дышало всё её существо: что бы они ни сказали, чтобы через годы творческих мук не вылили на бумаги, всё это выглядело бы грубо и нескладно, недостойно того, чтобы описать ту, которую нёс я к алтарю.

Статуи ангелов и святых в немом молчании своём соглашались с моими мыслями.

И даже растрёпанный полуслепой священник, едва проснувшегося, имеющий вид совершенно неподобающий предстоящему торжеству, имел какой-то странно сакральный смысл.

Священник, этот старик, с забавно торчащими волосиками на его лысеющей голове, являл собой ту каплю несовершенства, которая по законам природы должна быть даже в самом совершенном творении.

Сегодня ночью творение, нуждающимся в той самой капле, была моя долгожданная свадьба.

Не в силах сдерживать боле слова внутри своего разума, я заговорил, изливая то, что должно было быть сказано:

- Не нужно, ах, не нужно этого осуждения во взгляде, святой отец. Истинно вам говорю, я несчётное число раз обещал себе, что постараюсь, и не буду, по своему обыкновению, терзать себя из-за всякой мелкой неприятности, какую преподносит мне судьба, что буду я наслаждаться настоящим, а прошлое оставлю в прошлом. Я всё это знаю, но всё же я вновь здесь, у алтаря. Вновь невеста на моих руках. Вновь смиренно я молю о таинстве венчания. Как было это много раз до того. Но верю, внемлите словам моим, ведь идут они из самой

глубины не разума моего, но сердца, вместилища любви и тревог, что этот раз – последний, ведь нашёл я ту одну, что рождена стать моей. Невесту.

- Карабинеры!.. я вывозу карабинеров!

Голос священника – истеричный, испуганный – прибавил ещё каплю несовершенства к картине, но она в разуме моём была столь полна, столь ярка, что подобное мелочи уже не имели ровным счётом никакого значения, как не обращает промокший до последней нитки в реке человек на мелкий дождик, летящий с неба.

- Не стоит лишнего беспокойства, святой отец. Если вы о сломанных входных дверях, так это никакие ни злоумышленники их сломали. Это я их сломал. Сломал, а теперь напомню вам, закрывшему их на ключ, что Истинный говорил «двери дома моего всегда открыты», а чем если не домом Истинного является этот чудесный собор? Но, как я уже говорил, не стоит беспокойства: мной не будет написано письмо епископу с указанием этой вашей столь глупой промашке.

Невеста в моих руках очень уж сильно дёрнулась, и, чтобы она не упала, мне пришлось поудобнее перехватить её, оставив на платье ещё несколько кровавых отпечатков.

Кровь… конечно же.

Как я, столь много отдающий чувствам и мыслям, не понял сразу: не дверь, мёртвое дерево и метал стали причиной беспокойства святого отца, а она – кровь.

Пастырь беспокойством объят оказался, посчитав, что раны есть на телах моём и невесты.

- Святой отец, кровь эта не наша, а людей в глупости своей вставших на пути любви. А кому, как не вам понимать, что нет ничего превыше этого воистину лежащего в основе всего нашего мира чувства?

- Ты – покойник! Слышишь?! Ты – покойник. Я – дочь семьи Монтезини! Мой брат – он тебя убьёт!

Повязка сползла со рта моей невесты, и собор наполнился её криками.

Акустика в этом месте оказалась просто волшебная.

Уверен, присутствовать на службе, наслаждаясь звуками хора – одно из обязательных воскресных занятий всякого, считающего себя человеком просвещённым, обитателя окрестностей этого района города.

- А ну отпусти меня! Я сказала…

Я поправил повязку, и благодарно кивнул невесте за важное напоминание.

В спешке, в своём многословии, более приличествующих трепетному юнцу, впервые оказавшемуся у алтаря, а не мне, чьи власа щедро окрасила седина прожитых веков, упустил я важное, о чём моя дражайшая невеста мне столь любезно напомнила: святой отец не проведёт венчание, если не известно ему ни моего имени, ни имени моей избранницы.

- Ах, святой отец, мне стало понятно недоумение вашего взгляда: в ночи незнакомцы молят вас о венчании, но не удосужились даже имён своих назвать. Прошу простить мне это невольный недочёт, который я постараюсь немедля исправить, что вы поскорее могли приступить к нашему венчанию. Я – Адамо Соледад, а это моя – невеста и, как это ей только что было любезно сообщено, - она из семьи Монтезини. – когда фамилия моей невесты прозвучала во второй раз на лице священника понимание, что услышанное им ранее не было причудливой шуткой не до конца пробудившегося мозга. – И, считая, вас, святой отец, человеком, которому не чужды и дела мирские, кажется мне, что назови я сейчас имя своей невесты, это несколько бы снизило бы восторженную красоту момента, поэтому я позволю вам самому произнести его. Святой отец, я рассчитываю на вас. Не подведите.

- La Mostro… её же должны были повесить завтра…

Что это за слова?..

Это не те слова, что должны были прозвучать…

У меня от разочарования руки опустились, и я едва не выронил свою драгоценную невесту.

Пришлось опять перехватывать.

До чего же бойкая.

Другая же уже выдохлась или смирилась, а она всё пытается вырваться.

До чего же она хороша.

В каждом своё движении.

В каждой попытке вырваться, если не вырваться, то хотя бы больнее ударить локотком или коленкой.

- Святой отец, ваши слова вонзились в моё трепещущее сердце, как безжалостные ножи, вонзаются в тело бедной лани. Вы должны были назвать её имя, а не это безвкусное в свое вульгарности прозвище из жёлтых газетёнок. – я сделал паузу, чтобы набрать больше воздуха в грудь (жилетка, сдерживая мою плоть, затрещала) и выдохнул имя своей невесты. – КАТАЛИНА.

Имя, усиленное акустикой собора, грянуло как гром, заполняя собой всё пространство.

Прекраснейшее из имён, как и имена всех моих невест.

- Я… я не могу… уходите…

- Почему же, почему же, святой отец? Почему же вы отказываете двум любящим сердцам засвидетельствовать свою любовь перед Истинным? Не сказано ли, что Истинный и Любовь – суть одно? Или вы из тех, кто ставит закон светский выше закона божьего? Ах, не надо спешить с ответом, позвольте мне всё же продолжить мысль свою. Не спешите прервать её, как ребёнок срывает недозрелый плод, а потом говорит, что вкус его ему противен. – здесь я сделать паузу, не для того чтобы набрать воздуха или обдумать что-то, а потому что того требовала от меня логика самой речи, её драматургия. – Если чтите вы светские законы выше божьих, то тем боле нет причин в отказе: право на nozze del boia, полученное мной, не имеет сроков.

- Свадьба палача?..

- Bravo, святой отец, вы помните этот прекрасный обычай, вы помните об этом праве, которым я клялся больше не воспользоваться. Нет, только не в этом веке всеобщего просвещения. И всё же я предал сам себя, предал, не смог сдержать чувства, и стыд за совершённое ест меня изнутри. Поверьте мне, поверьте, святой отец, и смилостивитесь наконец надо мной и поймите: я влюбился, влюбился в неё с первого взгляда. И как любой из влюблённых я не мог отдать свою возлюбленную в объятия смерти. И вот я здесь, молю вас: выполнить ваш долг, если не перед Истинным, то перед обществом, и обвенчать нас.

Слова мои, искренние, наполненные огнём моего сердца, заставили священника смягчиться.

Старик прошёл мимо и опустился на скамью.

Невеста, не утратив ни капли своего пыла, билась как рыбка, в руках молодого рыбака, и как глупая рыбка была уверена, что стоит ей вырваться – ждёт её свобода родного водного простора, а не суровая реальность земли, не оставляющей рыбке ни единого шанса на спасение.

- Документы. Чем вы можете подтвердить своё право на nozze del boia?

И пусть слова священника, усомнившемся в моём праве, оставили ещё одну рану на моём и без того израненному сердце, я всё же был рад услышать их, ведь слова эти, подобные первому камню, скатившемуся по склону, свидетельствовали для знающего о том, что сейчас будет обвал.

Потребная грамота находилась во внутреннем кармане моего пиджака, и, доставая её, я старался не думать о том, во что превратил я творение семьи Конти.

И как всегда, когда я запрещал себе о чём-то думать, я не мог об этом не думать.

Если бы глаза мои способны были плакать, то слёзы потекли бы из них от вида того, что сделал я с костюмом, пошитым мне нынешним владельцем салона на Виа Кондотти, почтенным Милано Конти, чей достойные предок – Гаэтано был странствующим торговцем, тканями и мелочами для шитья, носившем в себе зерно великого таланта, которому лишь нужна была почва, чтобы расцвести. И этим талантом был талант портного, переданный им своим потомкам, вместе со мной, их постоянным клиентом на протяжении многих поколений.

Скрупулёзность, с которой священник изучил мою грамоту, из-за своего слабого зрения, почти водя носом по ней, вызвала моё немое восхищение, как вызывает это же чувство наблюдение за любой работой, которой человек отдаёт всего себя.

- Я проведу венчание. Прошу подождать – я должен приготовить всё необходимое.

Грамота вернулась ко мне, и огромных душевный усилий мне стоило ответить краткой благодарностью, а не сорваться, не начать изливать всю ту гамму чувств облегчения и ликования, что в тот момент забурлили внутри.

Возникшая, после ухода священника тишина, показалась мне столь кощунственно неправильной, что я не смог сдержаться и запел «Солнце моё».

Как дивно светит день погожий,

После грозы, в прозрачной сини!

Весь воздух – праздник, мир – святыня…

Как дивно светит день погожий.

Но солнца лучшее на свете –

Твоё лицо – мой свет в окне.

Не удержался – следом запел «Аура Ли» - гимн весне, свету и любви, невинный, полный образов: иволга, ива, весна, золотые волосы, ласточки, кольцо. Всё в нём дышало обещанием счастья.

Главный образ – та самая Аура Ли – это солнечный свет, который приходит с героиней и уходит с ней. Если она рядом – мир цветёт. Если нет - «ива золотыми ветвями качается под зимним ветром».

Кажется, мою невесту всё же тронуло моё пение.

Притихла.

Я подумал перехватить её, чтобы она не лежала, а скорее полусидела на моих руках, и тут же, как ребёнок, впервые увидевший дивный цветок огня, протянувший к нему руку, поплатился за свою наивность: моя невеста заехала мне головой в челюсть.

До чего же она у меня энергичная, неугомонная.

Не могу удержать в себе чувство восхищения, и обличаю его в «Целуй меня крепче».

Целуй меня, целуй, любовь,

Как будто эта ночь уже не повторится вновь.

Целуй меня – и не кончай,

Ведь страшно потерять тебя, тебя, тебя…

Я уже собирался спеть ещё одну, но суеты звук вторгся в нашу с невестой интимность.

О, что за век?

Что за люди?

Ужель так сложно им дать мне ту малость, без которой мне не жить?

В чём смысл сих метаний, жертв?

И столь болезненно, сколь чуждо душе моей, растревоженной песнями, отозвалась эта суета, что позволяю я стону боли вырваться их моих уст.

Рыком, заставляющим ворвавшихся в собор людей присесть, звучит тот стон.

Прошёл краткий миг смятения.

Пропал, как утренняя дымка, оставив о себе лишь воспоминание.

Будто чайки крикливые, не способные понять всю неуместную наглость своего грая, наполнили вошедшие своды собора своими голосами.

- Это он. Это он оторвал Энцо руку!

- Да он ещё уродливее, чем говорили.

- У Пино челюсть сломана в дух местах.

- Понятно почему он украл приговорённую к казни.

- Тварь!

- Богомерзкое создание.

Поднялась рука.

Все замолчали.

Заговорил вышедший вперёд мужчина.

В отличии от всех остальных у него не было оружия в руках.

- Дон Адамо, я осведомлён о сути ваших притязаний. Мы, семья Рицотти, - люди чести, что уважают законы государства, в котором живут, даже такие древние и

абсурдные законы, как тот, к которому апеллировали вы, получив в свои руки эту кровожадную убийцу. – говоривший сделал паузу, но слишком короткую, снижающую вес всего, что будет потом сказано. – И мне как саро семьи Рицотти позволено гарантировать предоставление вам любой иной девушки, которую вы сочтёте достойной стать вашей невестой. Каталина Монтезини же должна быть возвращена в тюрьму и казнена, как это было постановлено судом.

Слова, пусть и сказанные не без уважения, всё же вызвали у меня чувство отторжения:

- Вы объявляете себя человеком чести, но при этом говорите, как торговец, который предлагает мне один товар вместо другого, совсем упуская из вида, что та, что для вас является лишь предметом торга, - прежде всего моя невеста и личность.

- Дон Адамо, только из уважения, которое мне было велено проявить к вам, я вновь обращаюсь к вашему разуму и акцентирую ваше внимание, что ваша выходка имела успех только благодаря её дерзости. Здесь же, со мной, как вы можете видеть, больше дюжины вооружённых soldato. Проявите разумность, дон Адамо.

- Ваша разумность – клетка для духа, в которую с упорством достойным воистину лучше применения, загоняете не только себя, что было бы лишь вашей бедой, но и других. Действиями своими уподобляетесь вы садовнику, что готов выкорчевать куст роз, этих истинно королевских цветов, просто за то, что он не приносит по осени урожай яблок.

Я сдержал себя, не стал продолжать.

Не стоит и дальше сотрясать воздух, ибо есть время слов, а есть время действий, и лишь немногим дано тонко чувствовать ту незримую грань, что их разделяет, не позволяя превратить спор достойных в рыночную склоку, которой место на рыночной площади, а не под сводами собора.

- Очень жаль, дон Адамо. Возможно, вы хотите, чтобы я что-то передал кому-то из ваших родных?

- В этом нет нужды.

Мне не нужно подбирать в суете мелкой, унизительной слов, они давно уже написаны, написаны не мной, но мной оно вновь будут оживлены вновь.

Мной входят в город скорби бесконечной,

Мной входят в боль, которой нет конца,

Мной входят к тем, кто проклят навсегда.

Меня воздвигла Правда в час предвечный…

Входящие – оставьте все надежды.

Больше пропето, чем сказано мной было, пока я опускал свою невесту на скамью.

Разумеется, на языке оригинала, на имперском, на старо-имперском, том, что был до возвышения Хайльберга.

Неудержим я в противостоянии.

Ненасытен, груб.

Животному подобен становлюсь, когда против силы моей сила другая становится.

И тем больнее, тем печальнее возвращаться мне после, чтобы видеть ужасы, мной сотворённые, которые я себе столько раз обещал не повторять.

Столько боли, столько гнева, что сам я себе немил становлюсь, и только тем держусь, что сила моя – лишь ответ на силу чужую, что отмерено мной было им той же мерой, что отмерить мне хотели они.

Безнадёжно испорчено творенье почтенного Милано Конти – мой свадебный костюм.

И кровь на нём.

И отверстия от пуль, и от ножей.

И стоны, крики боли, проклятия кругом.

Венчание моё испорчено безнадёжно. Оскорблением и шуткой неудачной выглядело бы таинство после такого проведённое.

Но к счастью моему безграничному и удаче столь же великой соборов ещё в достатке, но прежде зайти не мешало б в салон на Виа Кондотти: взять иной

костюм, ведь этот безнадёжно испорчен, и не жениху в нём ходить, а покойнику в гробу лежать должно.

- Дон Адамо, вы заработали себе врага в лице семьи Рицотти.

Саро, стоит отдать ему должное, даже на шаг не сошёл с того места, на котором стоял в самом начале нашего разговора.

- В таком случае передайте вашему дону мои искренние соболезнования. На этом прошу считать наш разговор оконченным: спешу, мне ещё обвенчаться нужно.

Невесты на скамье не оказалось.

Лишь путы.

Сбежавшая невеста?

И кто иной, воскликнул бы: «О что за сюжет жалкой оперетты рукой неумелой написанной?»

Иной, не я.

Ведь жажды жизни и свободы действие это подтверждением является.

Доказательство верности моей любви, не словами, но действием явлено.

И тем сильнее, тем пламеннее любовь в сердце моё разгорается.

Что за счастье, что за томление мне даровано?

Флирт?

Любовная игра?

Прелестней мало есть вещей на свете для сердца моего.

Стыдом объятый, шёл я по городу.

Тем лишь спасался, что темнота ночная не успела отступить перед светом дерзости рассвета, и в переулках, которыми я продвигался, людей не было особо, те же, что встречались, завидев меня, умножая мой стыд, шарахались в сторону, творя защитные знаки, поминая Истинного и Святых его чуть ли не также часто как Тьму Неделимую и тварей её жутких.

И должно мне за жизнь мою длинную привыкнуть к подобному, но всё равно стыд, горячий, мальчишечий приливает к щекам, но не извиниться толкает он меня за вид мой непотребный, а прирыкнуть в ответ или взглянуть, да так что обмер прохожий. Сдерживаю себя, порыв свой мелкий, недостойный, напоминаю сам себе кто я есть, и что истинное достоинство не в том выражается, как я выгляжу, а в том только лишь, как веду себя, и проку никакого от рыка моего, от взгляда моего не будет. Лишь одно огорчение и боль. Сперва людская, а потом моя, когда начну думать, вспоминать о том, что сделал я, размышлять отчего сделал я так, а не иначе, находить докапываться до сути поступков своих.

Стыд больший, чем за вид мой, уродством шрамов прошлых сражений жестоких и прожитых лет, рождённый, стыд за поступки и слова мои необдуманные.

Сожалений горечь.

Признание слабости своей, в которой я подобно забулдыге мелкому раз за разом врущему, и себе, и людям, что больше пить не будет, и пьющему вновь, повторяю всё тоже, что боль причиняет и мне, и людям, но отказаться от того не могу.

Что нам мир без любви?

То же, что волшебный фонарь без света.

Но стоит вставить в него лампочку, как яркие картины запестреют на белой стене! И пусть это будет только мимолетный мираж, все равно, мы, точно дети, радуемся, глядя на него, и восторгаемся чудесными видениями.

В ателье Конти я, чтобы не привлекать ненужного внимания, вошёл через задняя дверь и почувствовал себя, как должно чувствует себя мальчишка, наконец добравшийся до дома, где ждут его родные.

До чего же приятное и тёплое это чувство.

Колокольчик у двери тоненько звякнул, предупреждая домашних о госте.

Первым появился старший внук Милано – Энрико, который совсем недавно принял семейное дело у Лоренцо – покинувшего нас внезапно своего отца и по совместительству зятя Милано, мужа единственной дочери почтенного мастера – Изабеллы.

Молодой портной держал за спиной одну руку, естественно, легко, так что это не сразу и бросалось в глаза.

Я знал: в руке у него был старенький, отцовский Smith & Wesson .38 Special.

Револьвер.

В нём была своя поэзия, своя красота. Нечто неуловимое, чего не хватало нынешним пистолетам, чем никогда не обладать автоматам с их суетливым стрекотом, с которым те попылали в мир смерть.

Седой, со спиной согнутой не прожитыми годами, а вечной работой, за внуком появился Милано. Старик был вооружён двуствольным дробовиком 12 калибра.

- Нам готовиться к обороне, дон? – деловито осведомился почтенный портной, которого я когда-то давно учил обращаться с тем дробовиком, что сейчас сжимает его иссохшая рука.

- Нет, Милано, мальчик мой, я только за костюмом.

- Вот видишь, Энрико, а ты ещё спрашивал: зачем шить для дона сразу три свадебных костюма? – усмехнулся Милано, похлопав внука по плечу.

Мне стало стыдно за себя.

Но в этот раз это был стыд иного рода.

Светлый.

Он заставлял улыбнуться и развести руками.

- Проходите, дон, позавтракаете. Вы давно уже с нами не завтракали. Серафина как раз подготовит вам ванну, а Энрико – костюм.

Душа моя озарена неземной радостью, когда я вижу за столом добрых людей, готовых разделить со мной завтрак свой скромный, ибо в такие моменты насыщаюсь я не только телом своим, но и душой, сердцем своим.

Хлеб пахнет мукой, смолотой на старой ветряной мельнице, у которой мы и повстречались с Гаэтано, и также разделили и хлеб, и вино.

Милано улыбается, молча, кивая моим мыслям. Конечно же, мука с той самой мельницы. И пусть за эти века та уже дважды горела так, что оставалось лишь

основание – для нас всех это всё та же мельница, у которой началась одна из скромных историй, которым не нашлось места в хрониках, но из которых соткано полотно жизни.

Это не просто хлеб – это история этого места, запеченная в корке.

Ломтик сыра – это солнце выжженных равнин, это молоко козы, пасшейся на склонах, где ветер помнит сражения, которые в книгах зовутся вымыслом досужим. Он твердый, чуть маслянистый, с прожилками, как карта старых дорог. Во рту он тает медленно, оставляя после себя солоновато-ореховый привкус – вкус терпения, с которым он зрел месяцами. Когда я его пробую, я не просто ем – я читаю книгу земли, где каждая страница – это мука и гордость пастуха.

Оливки. Черные, сморщенные, маринованные в уксусе с диким тимьяном и чесноком. Каждая оливка – это песнь осени, это древо, которое помнит многое, но не скажет никому ни слова единого. Её горьковатая плоть отдает морем, сухой землей и каплей вина, которой её поливали.

Хамон.

Милано сам режет его.

Старый портной отрезает тонкий, прозрачный ломтик… нет, не режет – снимает его ножом, как пастух снимает шкуру с овцы. Этот ломтик такой тонкий, что сквозь него можно читать молитву. И когда я кладу его в рот – о, Dios mio! – он тает не сразу. Сначала я чувствую соль – ту самую, что выпарили на побережье из морской воды, а не взятую и земли. Потом приходит жир – мягкий, маслянистый. И только затем – само мясо: плотное, чуть волокнистое, с запахом коптильни и дыма, с вкусом труда и терпения.

Вино. Эта кровь виноградной лозы, трудом винодела, преображённая…

Ах, что за счастливая мука?

Я бы плакал, искренне. Плакал от наслаждения и счастья, но глаза моя не способны дать мне этой малости, доступной даже детям.

«Совершенству не передела» - так говорит людская молва, но я отказываюсь в это верить, клянусь, - отказываюсь, когда вижу творение семьи Конти.

Что же это, если не совершенство?

Тот предел, за который не простирается даже самая смелая мечта.

Первое, что поражает – это белоснежный жилет, рубаха и брюки, ослепительные, как мрамор в ясный полдень. Тончайшее сукно идеально облегает фигуру, но не сковывает её. Белый жилет застегнут на все пуговицы. Никаких излишеств, никаких кружев или вышивки; только безупречная чистота, граничащая с пустотой.

Поверх этого света накинуто длинное, черное, тяжелое пальто. Оно расстегнуто и полами спадает до колен, создавая драматичный контраст. Театральный занавес, готовый упасть.

Черный галстук, затянутый под самым горлом.

Руки, изрезанные шрамами, скрыты в черных кожаных перчатках.

Классическая черная фетровая федора с довольно широкими полями и тонкой, незаметной лентой, - её тень, её поля призваны скрыть от прохожих моё безобразное лицо.

- Вас всё устраивает, дон?

- Снимаю шляпу перед твоим мастерством, мальчик мой. – склонился я в низком поклоне, перед недостижимым для меня мастерством.

Старый портной улыбается.

Он пошил первую версию моего свадебного костюма, когда был ровесником Энрико, пошил несмотря на то, что я сказал ему – в том нет нужды, ошибка прошлого не будет мной повторена.

Потом было пошито ещё много, пока два десятилетия назад не появился этот костюм.

Совершенный.

Вышел я, как и зашёл, через заднюю дверь: нечего покупателей от ателье отпугивать.

Стоило покинуть милую моему сердцу семью Конти, как оказался я на распутье: невесту мою, сбежавшую неведомо где искать, и то есть вина моя, вина моя великая, ибо отвлёкся я на дела мелкие, мирские, выпустив счастье своё из рук. И вот нет её со мной. Скрылось во тьме, затерялась среди улиц. Игрой своей невинной сердце моё влюблённое позабавить спешит, не зная, не ведая, что

метаниями своими боль себе причинить может, рану застарелую разбередить, но не будет меня рядом, что прикрыть, утешить, указать, что во тьме любой, в пустоте, что тьмы страшнее, место прекрасному отыскать можно, и жизни смысл, и счастье.

Внять бы мне гласу разума, что прав всегда, но глух я к доводам его. Зайти к друзьям-знакомым. Вздремнуть до ночи, и там уж, когда невеста моя на охоту выйдет, словить, спеленать её сызнова да к алтарю приволочь. Только сердце моё колотиться – покоя мне нет, нет мне отдохновения, потому брожу я переулками, людей сторонюсь, да думаю, а сердце моё томлением полнится: от мыслей-предчувствий встречи нашей следующей, от слов, моих несказанных.

Переулков тень спасительная, столь мной любимая, уродство моё скрывающая, привела к сцене, одной из многих, жизни моей след оставившей.

Два котёнка малых, рёбра наружу просятся, хвосты-ниточки облезлые, в сравнении с которыми лысина священниками давешнего – поле хлебное против плато каменного.

Пройти, забыть, оставить?

Кто другой отыщется. Кто достойный. Кто с душой.

И невеста ждёт, уж скоро ночь – на охоту выйдет, кровь пролить спеша.

Но замер я, уж зная, что и в этом деле останусь глух я к разуму, поверив сердцу своему глупому.

Снял я шляпу, котят лапки-тонкие в неё положил.

Оглянулся, звуком привлечённый.

Кошка.

Те же рёбра, тот же хост облезлый.

Пошипеть пыталась да сил у не нашлось.

Забрал и её в шляпу свою.

Не пройти, не забыть, не оставить.

К кому, к кому в минуту нужды, в минуту трудности обратиться, как не к королевским карабинерам, этим поборникам справедливости, готовым противостоять не только врагам внешним, но и внутренним, смуту, непокой в обществе сеющих?

Массивное здание прошлого века, с которого время почти стёрло, съело былое убранство, краски, оставив, как оставляет оно от рыбины выброшенной на берег лишь кости, серый камень. Высокие окна забыв красоту занавесей и стёкол, закрыли свои очи железом решёток.

На углу – вывеска с королевским гербом и надписью «CARABINIERI REALI».

Вход – с улицы Лунгара (не для меня), но есть и боковая дверь, из переулка Виа делла Моле.

Скрип петель, как улыбка друга, которого ты не видел много лет.

Годы минули, а скрип, эта мелочь, досадным недоразумением иным кажущаяся или бесхозяйственностью, остался прежним. Немного противным, живым.

- Прошу простить мне беспокойство это, но нельзя ли мне встретиться с маршалом Поготтом? – со всей доступной мне теплотой спросил я дежурного, что сидел на стуле.

И зная, какое чувство вызывает лицо моё, чуть склонился, отвернулся, стыдливо, мелко, спрятать свои шрамы пытаясь.

Не спасло, не помогло, не выручило.

- Стоять! – правая рука дежурного уже на рукояти револьвера.

Замер я, от греха подальше, шляпу с котами рукой прикрывая.

- Что это там у тебя?! – и следом, когда в глазах его отразился страх узнавания. – К оружию!

И минуты не прошло, как на меня смотрели три дула карабинов, противно звенела тревога.

Стоял я, всё там же, не страхом перед оружие остановленный, а боязнью боль ненужную людям, самим себе страх придумавшим, причинить, лишний раз на этом пустячном деле убеждаясь, что недомолвки и закоренелые предубеждения больше вносят в мир смуты, чем коварство и злоба.

Улыбнуться бы от глупости нелепой ситуации, но отчего-то больше расплакаться хочется от бессилия, от глухости людей к словам моим, от глупости своей, от того, что не принял до сих пор этого, от того, что всё ещё отношения иного жду.

Спасением мои, ангелом Истинного появляется Макро Поготт.

Хищен. Худ. С вечной своей сигаретой.

- Оружие опустить! Тревогу отключить! – скомандовал он, и люди, хоть и заняло время у них принятие сказанного, но приказ выполнили.

«О, мальчик мой, нет нужды во взглядах гневных. Не в праздности беспокоить тебя решился я, а из нужды великой. И к кому, к кому, ответь ты мне, с нуждой идти мне, как не к королевским карабинерам, что славны всегда были своим золотым сердцем и поступками честными?» - хотел я сказать.

Промолчал.

Гневен больно взгляд у Марко, и слова мои лишь для меня утешением прозвучали бы, не для него.

- Что это там у тебя?

- Коты.

- Коты? Какие, во имя всех святых, коты?

- Голодные.

Марко выбросил сигарету, растоптал её гневом, будто это она была виновата во всей той несправедливости, что в мире нашем необъятном происходит, причиной всего горя является.

- Пойдём ко мне в кабинет поговорим. Только молчи, пока я не выпью хотя бы стакан. А лучше два.

Резким движением Марко сдвинул в сторону часть бумаг, что-то упало, зато на столе появилось место для початой бутылки и двух стаканов, которые тут же оказались наполнены граппой.

Мне хотелось извиниться за беспокойство, уйти.

В наивной глупости своей я решил отвлечь от работы, уважаемых людей, что порядок честным людям несут.

Желание своё мелкое, выше дел государственных в раз который поставил.

Мог же я и в собор любой или приют людской котов отнести.

Мог и к иным знакомым своим обратиться.

Не отказали бы. Не прогнали.

А и случить такое – иных нашёл бы, мир людьми добрыми полнится, расцветает, красоту свою всем являя.

- Ни слова. – повторил Марко и опрокинул в себя тот стакан, что был ближе к нему.

Тут же достал сигарету и зажёг её.

Затянулся.

Сел наконец, метаться как лев внутри клетки из стороны в сторону прекратил.

Второй стакан к себе придвинул, половину выпил, на стол поставил.

- Рицотти несмотря на то, что ты натворил в соборе, всё ещё готовы решить дело миром.

- Я не отдам им свою невесту. Только не её, не после того, как она оказалась приговорена к казни, не после того, как людское общество отказало ей в праве на жизнь.

Марко, мой милый мальчик, ты вырос в достойного мужчину. Ты ругаешься сквозь зубы, тушишь сигарету в пепельницу, допиваешь стакан, вновь, наполняешь оба, вновь зажигаешь сигарету, делаешь затяжку. Ты не говоришь мне о том, о чём кричат заголовки газет отсюда и до самой столицы, о La Mostro, девушке, убившей больше дюжины представителей семьи Рицотти. Ты молчишь о том, о чём знает каждый, о выдумках этих журналистов, о том, что жертвы были частично съедены. Молчишь, мой милый Марко, и я благодарен тебе за это молчание.

- Рицотти подали жалобу. Они хотят оспорить твоё право на nozze del boia, и боюсь это им удастся. Даже если нет, ордер на твоё задержание уже у прокурора, - в этом я уверен. Возможно, даже подписан. Когда я получу эту

проклятую бумагу, я буду обязан тебя задержать.

- Я был бы огорчён и разочарован тобой, если бы ты это не сделал, мой милый мальчик.

Рукой остановил кошку, которая вздумала попытаться сбежать из шляпы.

- Адамо, ты не понимаешь. Сейчас совершенно другое оружие, чем было тогда. С ним мы сможем убить даже тебя, а если не сможем, то придёт армия, с их пушками и танками. У тебя просто нет шансов.

Боль его отзывается во мне, но нахожу я слова чтобы добавить каплю света в конце:

- Если это так, если люди действительно стали сами способны побеждать чудовищ, подобных мне, то как я могу не порадоваться этому? Ведь в том есть и толика моего участия, что позволила людям дожить, дорасти до этого момента прекрасного, когда никакой нужды во мне уже нет.

Марко вновь ругается.

Я понимаю – на меня, хоть он и старается, чтобы я этого не понял.

- А с котами что? Во имя всех святых, зачем тебе коты? – резко сменил тему Марко.

- Тебе принёс. Пригодятся. Крыс-мышей гонять. Людям настроение поднимать. Их только покормить надо, и будет целый кошачий отряд. Разве это не прекрасно?

- Мало мне проблем… - вздохнул Марко, а потом позвал. – Ринальди!

- Слушаю.

- Взял котов. Накорми и место им на станции определи.

- Коты? Зачем нам коты?

- Пригодятся. Крыс-мышей гонять. Людям настроение поднимать. Их только покормить надо, и будет целый кошачий отряд. Разве это не прекрасно?

Коты ушли в новую свою жизнь, куда более счастливую, чем ждала их в том переулке, вместе с моей шляпой.

Не жалко – им, худышка облезлым, нужнее.

Ночь за окном.

Где-то там моя невеста вышла на свою кровавую охоту.

- Адамо, найди свою невесту и уберись из города до рассвета: я не хочу объяснять матери почему мне пришлось убить тебя.

Ах, Серена, нет не хочу я, чтобы эта прекрасная девочка вновь грустила: и так наша жизнь неустроенная, полная невзгодами и печалями жестока сверх всякой меры к ней была. Не вдруг, не каждый дорогу к дверям дома моего отыщет. Отыскала, хоть сил постучать и нашла.

- Если и придётся, мой милый мальчик, то не грусти, не терзайся, и Серене поклон мой передай, велев не ругаться. Если придётся – виной тому буду лишь я один, что в лабиринтах слов своих, мыслей и чувств совсем с реальностью связь утративший, тем самым для людей опасным став. И нет дурного в том, что мир избавлен будет от очередного чудища. Лишь подвиг и слава роду людскому. Лишь подвиг и слава.

Тревожным звонком телефон прервал наш разговор.

И ещё до того, как Марко, снял трубку я уже знал, о чём будет сообщено.

Каталина Монтезини, моя невеста, напала на кого-то из семьи Рицотти.

Возможно, убила.

Поехали втроём: Марко, начавший пьянеть и потому усадивший за руль своего личного Fiat 505 недавнего Ринальди; сам Ринальди, слова которого о том, что он успел вымыть (мытьё было подтверждено показом глубокий ран от когтей на руках) и накормить котов кусочками хлеба, смоченными в молоке, и теперь всё трое спят, а завтра вызовет ветеринара, чтобы тот их осмотрел, бальзамом ложились на моё сердечко; и я.

На заднем сиденье, занятом мной, обнаружилась старая газеты.

«ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО НА ВИЛЛЕ МОНТЕЗИНИ» - заголовок, как это и принято, кричал, призывая узнать, что же там за ужас произошёл. Заглянуть хоть одним

глазом за ширму.

…

Прибывшие на место карабинеры обнаружили тела трёх членов семьи: главы семьи, его супруги, их сына и ещё тела двух неизвестных.

…

По данным полученным от анонимного источника, близкого к расследованию, виновником резни может быть пропавшая дочь семейства – Каталина Монтезини.

…

В каждом деле, в каждом мгновении неповторимом нашей жизни есть своя особенная прелесть, наполнить душу тихой радостью способная.

Была она и в нашей ночной поездке, в той неспешности узнавания мест, виденных мной ранее, ночной безлюдности улиц и свете фонарей, одного из творений живого, ищущего разума людского.

Фонари эти, выстроившиеся вдоль дороги почётным караулом, строгим и в тоже время стройным и изящным, наполняли ночь не бьющимся огнём масляным или газовых, а ровным, бесстрастным, - электрическим, свет которого пусть был холоден, но тьма перед ним расступалась куда охотнее чем перед его старшими собратьями. И хотя свет живой, пламенем рождённый, был сердцу моему милее, и в доме своём скромном я всё ещё вечерами зажигал керосиновую лампу, а не лампочку электрическую, преступлением и обманом было бы не восхититься искренне прогрессом ума людского, не признать, что человек, освобождённый от оков магии, богов и иных чудовищ ей порождённых, идёт в будущее своё светлое.

- Ринальди – ждёшь в машине. Двигатель – не глуши.

Карабинер молча кивнул, подтверждая, что слова Марко им поняты.

Сколь скромен в своей непритязательной простоте дом семьи Рицотти был снаружи, столь же роскошен он оказался внутри.

И роскошь эта была не той помпезной, показной, которой во все времена грешили arricchito, прячущие за блеском золота и белизной мрамора пустоту и

оторванность свою от природы и людей.

О нет, это была роскошь того особо, отрадного сердцу вида, что вызывала уважение.

Не камень, но живая древесина окружала нас. Орех. Дуб. Клён. Цвета – от тёмного шоколада до почти чёрного, с прожилками янтаря там, куда много раз падал солнечный свет. Местами видны потёртости, но для взора моего истинно жемчужинами кажутся те места, свидетельством истории и доказательством безмолвным живости дома сего.

Лестница заскрипела.

Не громко, не жалостно, а как скрипят только старые дубовые ступени, обстоятельно, с достоинством, возвещая, что встретить нас вышел сам дон Леонардо, глава семьи Рицотти.

Слов не было.

Были взгляды.

Говорившие больше, чем иные могли бы уместить в самую длинную речь.

В кабинете, где запах сигареты Марко казался не оскорблением даже, кощунством, я медленно катал в стакане практически прозрачную, с едва заметным соломенным оттенком, настойку – розалио из цитрона – густую, вязкую, почти маслянистую. Запах яркий, но не приторный – свежий цитрон с нотками бергамота, лаванды и ромашки – витал над стаканом, примешиваясь к запахам табака сигары, что закурил дон Леонардо, и запахами старой кожи и древесины.

Стоявший рядом с доном человек был представлен нам (скорее мне, ведь Марко не мог не знать, кто перед ним) как consigliere семьи Рицотти.

Consigliere держал в руках пустой стакан. Нет, он не выпил его содержимое, тот был пусть изначально.

- Дон Адамо, я обязан уточнить одну вещь, прежде чем мы начнём.

Пауза.

- Грамота, подтверждающая право «nozze del boia», была выдана Адамо Соледаду королём Витторио Амедео II, правившем более трёхсот лет назад.

Пауза.

- Caporegime утверждает, что во время встречи, случившейся в соборе Святого Иакова, вам было нанесено не менее дюжины смертельных ранений.

Пауза.

- В бумагах, которые сегодня мне доставили из ратуши, говорится, что имя «Адамо Соледад» появляется на страницах истории нашего королевства слишком часто, чтобы быть просто совпадением. При этом мне не удалось получить ответ: почему раньше это не привлекло ни чьё внимание.

Пауза.

- Прежде чем продолжать, дон Адамо, нам нужно знать: с кем мы имеем дело.

- Santa Maria… - прозвучало от Марко почти ругательством.

Марко, мой милый мальчик, был одним из тех немногих, кто знал тайну эту мою невеликую, и беспокойство его, чувство смятения, разочарования его, понятны мне были, как и вопрос, оставленный consigliere в воздухе.

Такое случается ещё.

Всё реже.

Находятся люди в жажде своей, в нетерпении и упорстве способные разглядеть то, что я надеюсь будет забыто совсем, как забывает ребёнок мысли и логику свою незрелую, детскую, когда становится взрослым.

В иные времена, давние, вопрос этот боль немалую и страдания душевные могущий причинить мне, теперь же власти и толики малой не имел, лишь огорчил меня он тем чувством неприятным, что Марко, его услышав, испытал.

- Поверьте слову моему, поверьте – дело с другом свои в лице моём вы имеете, и скорби слёзы по щекам моим лились сейчас знаком подтверждения раскаяния за сотворённое в соборе, но глаза мои малости этой, людской, даровать мне не могут, поэтому прошу словам поверить, принять их. Не было зла в помыслах и действиях моих, лишь то, что по праву древнему моё, жаждал я защитить, и только лишь венчанье свершится – покину я, покину с невестою своей город этот и не вспомните вы о нас.

- Вы не ответили на мой вопрос. – сух и беспристрастен был consigliere.

- Но я ответил, как мне сказать иначе это? Как словами смысл донести? Врагом я не был и не буду людям.

- Адамо, помолчи, - вмешался Марко, - пожалуйста.

На спасенье, помощь ко мне явился он, отставив в сторону стакан свой, и сигарету недокуренную в него, как в пепельницу вкинул.

Марко, мальчик мой милый, сердцем добрый, бесхитростный, словами многими, простыми, понятными, суть, изложил, но и та веры доверия особо не вызвала, тогда пришлось к средству последнему, мной нелюбимому прибегнуть: натуру свою мерзкую людям невинным демонстрировать.

Века, прожитые, не только лишь шрамами на теле и сердце моём уродливые, взгляду людскому неприятные оставили, но чувствами разными душу богаче сделали, ведь видел я империи, королевства разные, друг друга сменявшие, в легендах и сказках лишь ныне существующие. И понял я, что то единственное, нетленным, ценным остающееся, от поколенья к поколенью передающееся – это поэзия, музыка, искусство и лучшее из чувств возможных, ценимое мной больше иных, - любовь.

Тем больнее, тем неприятнее мне всё это понимающему в раз который уродство древнее миру являть.

Костюм свадебный, рукой и разумом почтенного Милано сотворённый, дабы уберечь от порчи ненужной, я снял аккуратно, по пояс обнажившись, тело своё показывая, шрамами сражений всеми забытых покрытое.

- Марко, мальчик мой, стреляй.

Он и выстрелил, смотря в сторону.

Поклон мой, Серене, его матери, - сына славного вырастила.

Тело моё из плоти людей многих трудами безумца, на свершения профессором Вальдманом подвигнутым, созданное, ущерб малый, незначительный от выстрела того поимело, но слов понятнее глазами увиденное оказалось.

Хоть и видно было – трудно ужас подобный, осмыслить, принять.

Тишине, после грохота образовавшейся, завладеть кабинетом, но на звук выстрела люди сбежались, и тут же выпровожены были.

А там и Ринальди шум поднял, спасать нас решившийся, чем ещё большую любовь к Марко у меня вызвавший: дурного начальника подчинённый, жизнью, рискуя своей бесценной, единственной спасать не бросится.

Тишина после суетности той образовавшаяся тяжела и печальна во много оказалась, но словам своим, многим, разрушить её могущим, свободы я давать не решился, не осмелился: людям мысли обдумать давая.

Consigliere и дон не сказали друг другу ни единого слова, но когда consigliere заговорил, сомнений в том, что его слова полностью отражают взгляд дона не возникало:

- Вскрывшиеся факты интересный, и после окончания этого разговора я попрошу отозвать ордер на ваш арест: семья Рицотти не имеет претензий к вам, дон Адамо. Саро будет наказан за проявленную сверх необходимой меры агрессию, вынудившую вас обороняться, и приведшую как потерям среди soldato, так и сегодняшнему покушению на жизнь дона Леонардо.

Пауза.

- Я также должен сообщить, что ваше право на «nozze del boia» будет оспорено, а также что семья Рицотти продолжает настаивает на казни Каталины Монтезини, чья вина в убийстве членов семьи Рицотти, доказана судом. Нарушитель famiglia è sacra должен понести заслуженное наказание. И наказание это было поручено светским властям только из уважения семьёй Рицотти к законам государства, в котором мы живём. Если же государство не способно сделать так, чтобы его законы соблюдались – семьи Рицотти готова взять на себя эти функции. Это дело чести для семьи Рицотти. L'onore prima di tutto.

Пауза.

- В таком случае, дабы избежать ещё больших потерь со стороны семьи Рицотти, я, Адамо Селедад, предлагаю семье Рицотти свою помощь в поимке Каталины Монтезини. Судьбу моей невесты мы можем решить после её поимки. И если семья Рицотти будет настаивать на её казне, то я готов в бою отстоять своё право на любовь. В силу специфики моей природы, чтобы уравнять шансы, семья Рицотти может выставить любое число бойцов с любым вооружением.

Рекомендую использовать ручные пулемёты Breda Mod. 30 и гранаты Mod. 35, а также, если есть такая возможность, попытайтесь найти крупнокалиберный пулемет Breda M1931 – попадание из него должно гарантировано вывести меня из строя и обеспечить вам победу.

- Семью Рицотти устраивают озвученные условия. Сеньор Марко, прошу засвидетельствовать достигнутые договорённости.

Дон Леонардо за время беседы не проронил ни единого слова.

С трудом великим проводил Марко удалось.

Не хотел оставлять меня он, находил сотню и ещё одну причину, не гнушаясь и положением своим пользоваться маршальским, указывая, что не может просто взять уехать после того, как получил сообщение о нападении на дона Леонардо.

Была бы шляпа моя всё ещё при мне – снял бы шляпу ту перед логичностью и холодностью аргументов, которыми consigliere напор Марко сдерживал, неумолимо тесня его в машине, в которой ждал Ринальди.

И пусть сама ситуация со стороны кому-то и могла показаться донельзя комичной и неуместной, наполнила она меня теплом.

- Адамо, ты ведь понимаешь, что дон Леонардо не отступится? Твоя невеста убила ведь не просто людей семьи Рицотти, она убила sottocaро семьи Рицотти. – уже сев в автомобиль, спросил меня Марко. – Единственного сына дона Леонардо.

- Я готов сразиться за свою любовь.

- А мне показалось, что ты готов умереть.

- Тебе, мой милый мальчик, это просто показалось.

- Буду надеяться: мне бы очень не хотелось, чтобы моим детям не пришлось познать всех прелестей жизни с таким беспокойным соседом, как ты.

- Я тоже буду надеяться на это, ведь моя гибель будет означать и гибель моей прекрасной невесты, а это я просто не могу себе позволить допустить.

Милый мой мальчик, милый Марко, ты и правда в искреннем своём желании защитить меня ошибаешься: я слишком люблю это мир, во всём его чудесном, постоянно движущемся многообразии, чтобы умирать по собственной воле, но я также сильно, а может и сильнее, люблю и вас, людей, чтобы отказывать вам в праве в очередной раз попробовать убить меня.

Верно, правы мои друзья, что вечно говорят мне, что из меня вышел бы плохой отец.

Наверное, поэтому у меня нет детей.

Я стоял и смотрел им вслед, двум людям внутри железного чрева автомобиля.

Летняя ночь.

И небо, и ветер, сказавшие мне голосами своими почти неслышными: невеста сегодня уже не придёт, иную ночь ждать теперь мне, иную попытку убить отца уже убитого ею сына, из мести за семью, смерти которой она не помнит, не знает.

Выделенной мне спальней воспользоваться так и не довелось, но в том не было и капли печали, ведь помочь мне consigliere в поисках необходимого вооружения посчастливилось, а через это дело со старыми знакомыми чуть поговорить, о здоровье, о семьях их осведомиться, и телефон – воистину одно из чудеснейших изобретений людской эпохи – мне в деле этом помог несказанно.

И восхищаясь телефоном, я не могу не восхититься Антонио Меуччи человеком, создавшего teletrofono, чтобы дать своей больной жене Эстере возможность общаться с ним. С тех пор минули годы, славу изобретателя украл другой, но телефон всё также исправно служит людям, позволяя услышать голоса родных, любых и друзей, услышать даже если вас разделяют сотни, тысячи километров, забыв хоть на мгновении о том расстоянии, вас разделяющем.

О нет, не стал я звонить ночи среди, беспокоя и сон нарушая людской. Подождал рассвета, заполнив время до того выбором места, где должен состояться бой предстоящим, в котором судьба невесты моей решена будет.

Амфитеатр забытый, ещё времён Империи, выбран мной был.

Много славных сражений арена, арена Misericordia Maxima помнила, что оставили на ней отпечатки свои бесчисленные, шрамам моим подобные.

Среди колонн есть там место приметное, людям многим известное, где клинок в камень погружён орком молодым, имя Ставр Беда Створовски носившим.

Четыре века уж почти прошло, а руки достойной, чтобы клинок тот из камня вытащить, так и не нашлось.

Может и не сыщется: не видал я силы большей, чем орк тот нравом своим добрым и шутками смирял, миру являя лишь толику малую.

Consigliere выбор мой одобрил.

С великой радостью принял я приглашение дона Леонардо присоединиться к нему за столом, завтрак разделить, но радость моя, как это нередко бывает, видом стола, за которым некогда сидела большая семья, оказалась омрачена: накрыто сейчас было лишь на троих.

Дон молча кивнул, приветствуя меня.

Измучен, сух, но крепок, как перила лестницы, по которой он вчера спускался меня встречать.

Рядом consigliere – как и я не спал он всю ночь – взгляд тусклый, холодный, будто и не человек вовсе, а одна из тех механических кукол, что с такой заботой и мастерством когда-то делал говорливый старик-Дедал, и которые нет-нет, да и встречаются ещё в нашем Лоскутном мире.

Кофе. Черный, как сажа. Горечь всех слов сказанных, и несказанных, решений ошибочных в нём.

Хлеб. Не такой хлеб ожидаешь увидеть за столом дона Леонардо. Сухой, почти чёрствый pane militare – армейский хлеб из полбы и ржи. Нарезанный толстыми ломтями. Он крошится в руках. Это хлеб осады, хлеб людей, которые не ждут ничего хорошего. Это хлеб траура по сыну, которого не вернуть, и семье, которую из страха за них пришлось отправить куда-то далеко.

Боль, страшнее боли телесной, рвала моё сердце, застревала комом в горле: я понимал, я видел, весь ужас, сотворённый моей невестой, и всё же я не мог дать этому человеку даже той малости, о которой он, не говоря ни слова просил в каждом своём скупом жесте, каждым несказанным словом.

Я, в эгоизме своём слепом и безрассудном, не могу позволить дону Леонардо увидеть, как умрёт убийца его сына, ведь невеста моя мне дороже всей той боли, что она другим причинила.

Правду открыть, грязью имя сыновье вымазав?

Горем, болью чужой счастье себе попробовать выкупить?

Нет, нет, нет.

Путь иной, другой выбран мой.

Им и идти мне следует.

Волком в засаде притаившимся, ночи дожидающимся, сидеть не стал, в город вышел.

Переулками привычными, людей взглядов избегая, направился к станции карабинеров: узнать всё ли с котами в порядке, нет ли нужды в помощи какой, с Марко словом-другим обмолвиться, не по делу, просто, как оно меж людьми водится, без смысла и без цели особой.

В этот раз вошёл без лишнего шума: повезло Ринальди встретить, а тот удержаться на смог – котами повёл хвалиться.

Не знаю, как ему это удалось, но сегодня кошкосемья являла собой пусть и донельзя худое, облезлое, но всё же семейство, в благополучие которого верилось.

Добротная лежатка и не из тряпья какого-то, подушка настоящая. Рядом шляпа валяется.

Миски, только со склада, новёхонькие, - одна с водой, одна с едой.

И меж прочим, что сердцу моему особо мило и важно, именами успели коты обзавестись.

Кошка стала – Ченере.

Меньшую из котят прозвали – Пикколо.

Второго котёнка, серенького, - Зитто.

Посидел с котами.

Даже почти погладил кошку.

К Марко заходить не стал – смуту в суету происходящую в его кабинете своим присутствием вносить не стал, не решился.

Подождал, когда Ринальди, будет пробегать мимо – за котов поблагодарил да через боковую дверь вышел.

После карабинеров на городское кладбище направился, с Эрмене, смотрителем его, переговорить следует, к бою предстоящему подготовиться.

Могилы навестить.

- Эрмене, мой мальчик, Эрмене… минувшие годы как будто бы сделали тебя ещё красивее, чем ты был в юности.

- Gentiluomo даже стареют с изяществом. – ответил мой знакомый таким тоном, что я сразу понял, ему пришлось по нраву сказанное, но он никогда в том не признается.

Объятия его. Всё такие же крепкие.

Улыбка всё такая же чуть наглая.

Я ничуть не был удивлён, что Марко предупредил его о моём возможном визите, поэтому Эрмене уже присмотрел несколько тел, из которых потом можно будет взять части на замену.

Сгорая от стыда, извинился я за то, что вновь вынуждаю старого друга нарушать законы не только светские, но и Истинным установленные. Виной всему слабость моя, неспособность огонь обуздать, в сердце пылающий. Любовь моя безумная, преград не видящая, слов ни чужих, ни разума не слышащая.

Попрощавшись тепло с Эрмене, в гости к знакомым в земле лежащим пошёл я.

Не ради тоски, грусти по ушедшему, жизни утверждением.

Ушли многие достойные, но иные на смену им пришли, со своими уже детьми-внуками, и нет конца кругу этому совершенному, восхищение моё вызывающему.

И хоть нередко кажется, что по кругу история идёт, обрекая поколение новое ошибки старые повторять, своими делая, со стороны мне оно ведь лучше

видится – не круг, спираль то, вверх человечество возносящая. Все выше, всё дальше люди, всё прекраснее.

Усыпальницу семьи Монтезини не обошёл, не оставил без внимания.

Следы кровавые, недавние, невестой оставленные, пальцами слегка тронул, не стал в глубь идти, сон любимой нарушать.

О, до чего же глуп и слеп был я.

Где быть, где скрываться девушке в мире этом, вдруг враждебном ей ставшем?

У родных в объятиях, рядом с братом, чьей карой она в безумии своём угрожала мне.

Вина моя великая есть в том, что на камне хладном невеста спала моя, не в постели мягкой, что только сейчас будет пробуждена от наваждения.

Томленьем сладостным объятый, закатный час ждал я мальчишкой в свой первый раз.

И вот настал он, во тьме усыпальницы движенье зародилась: то любовь моя проснулась, что ценой страданья своего радость встреч с друзьями мне даровала, и радость встречи собой после мучительной разлуки.

Заострены черты.

В шагах простых зверя больше человека.

- Смирись, моя по праву ты невеста, и таинство венчанья всё ж будет свершено.

Ответом – рык и стремительный бросок.

Атаки будто танец.

Точны удары. И быстры.

Ловлю её в объятья.

- Смирись.

Не вырваться ей, и бьётся будто трепетная птичка.

И взгляд иным уж стал, и крик:

- Я – дочь семьи Монтезини! Мой брат – он тебя убьёт!

Нарушив закон famiglia è sacra семьи Рицотти sottocapo в тайне от отца убийц наёмных подославший к семье моей невесты.

Убиты были все.

Осталась лишь она.

И разум хрупкий, потерю страшную чтоб забыть, родил чудовище иллюзий.

Мертвы убийцы.

Погиб в чудовища когтях и вероломный sottocapo.

Посажен в клетку монстр, виселица уж ждёт.

Вмешался я.

И вот в объятьях мы под луной.

На кладбище пустынном.

- Я знаю – будет больно, но в этом мире не ты чудовище, а я. Взгляни в глаза мои, и очнись ты от безумья наваждения.

Обнимаю самое ценное, что в это мире только есть.

Свою невесту, чьё тело выгибается дугой, мои чудовищные ладони ложатся на её, которыми она царапает себя, пытаясь вырваться из кошмара реальности, вновь ускользнув в спасительное безумие, где родные живы, где есть брат, который может защитить.

Не вырваться, не ускользнуть ей.

Иссякли силы.

Лишь слова остались.

Не все – одно.

- Нет… нет… нет…

Ослабляю объятия свою, позволяю опуститься на траву.

Эрмене, благодарности моей ему предела нет, явился на подмогу.

Трубит он в рог, кости белой, светом внутренним наполненный, предку его Угоне д’Альверния Обероном подаренный.

Из тумана лунного является не воинство старое, легендами и песнями восхваленное, народ мой является, все те, кому не хватило сил, не достало дальше жить среди людей.

- Mio signore glorioso, difesa del popolo, noi siamo qui al vostro comando. – склонился передо мной прежний король фей.

Роста малого, футов трёх не больше, но с лицом ангельским.

- Друг мой, невеста моя истощена изранена – силы своей каплю дать мне прошу, для души невинной спасения.

Чашу полную лучшего вина к губам невесты моей подносит Оберон.

- Bevete, ch'io so che voi siete degna. – звучит тихий призыв его.

И невеста моя, вняв словам его, делает один глоток. Второй.

Очи её смежаются.

В сон глубокий погружается.

Уходит король прежний, с народом мои.

Лишь туман остался.

Вот нет и его.

Будто не было.

Сердечно кланяюсь я Эрмене: и за рог, и за то, что ждёт у кладбища границы Марко на своём Fiat 505.

- Постели и для тебя, и для невесты твоей уже готовы.

- Ты прости уж меня за беспокойство, суетность эта, что в жизнь твою размеренную вновь внёс я появлением своим.

Отмахнулся Марко от моих извинений.

Поехали мы к нему домой.

Хлопотами Серены наполнилась встреча с домом, семьёй Марко.

Уложилась невеста моя на белую постель, под приглядом неусыпным и матери, и жены друга моего.

Меня же ждал разговор: consigliere семьи Рицотти явился лично на порог дома Марко.

- Дон Адамо, правда о случившемся вам была известна с самого начала?

Прожитые века не только лишь сединой одной наградили меня, но и умением читать меж строк, видеть то, что иные иллюзией посчитать могут.

- Вы намерены открыть правду о сыне дону Леонардо?

Правдой той, желанием своим эгоистичным выглядеть справедливости поборником, глаза всем на правду открывающим, погубить его, в бездну отчаяния бросить, погубив тем самым семью Рицотти, грязью имя замарав?

- Из уважения к выбору вашему, я могу помочь вам и вашей невесте скрыться. Также я гарантирую, что люди, отправленные на ваши поиски, вас не найдут.

Было б моим желанием похищение, насилие бесчестное, не было б нужды в словах, в праве давнем, королём людским мне данным, в венчании перед богом Истинным.

- В таком случае завтра мы будем вас ждать в амфитеатре. Полдень вас устроит?

Ни слова не проронил я во время разговора нашего, но consigliere и без слов всё понял.

В пробужденья момент невесты моей, рядом ждал я.

Не было слов.

Были слёзы, и тепло, материнское, которым укутали невесту мою женщины дома семьи Поготт.

Чудом, руками любящими сотворённый, появился в спальне на доске деревянной, полотенцем укрытый хлеб горячий.

Жизни новой дыханием.

Теплом.

Надеждой.

Корка его золотая – луч солнца утреннего.

И плошка янтаря жидкого – мёда.

И чашка бездонная с чаем травяным.

Новые слёзы.

Иные.

Кормили мы невесту мою.

Исповедь её немую, слезами сказанную слушали, а и там время ехать на бой назначенный пришло.

Ждал меня, и Милано с внуком своим Энрико:

- Дон Адамо, как знал, что третий костюм пригодится. Как раз после боя и смену вам подадим.

И Эрмене д’Альверния:

- Кто тебя ремонтировать будет?

И Ринальди:

- Меня жена нашего маршала задушит, если там с ним чего случится.

- Адамо, не вздумай проигрывать: я не хочу, чтобы, когда я рассказываю о феях, их короле и многих чудесах нашего мира, мои внуки называли меня врушкой.

- Я уж постараюсь-расстараюсь, моя прекрасная Серена.

- Уж постарайся.

Чудесна арена в своём полузабытом величии.

Готова сцена.

Люди ждут.

Ощетинились soldato стволами огнестрела.

И ждут зрители начала.

Что подойдёт уместней, лучше, как не «Что на земле сравнится с охотничьей радостью?» из оперы «Волшебный стрелок» в исполнении моём для сцены этой?

Первая очередь прошивает воздух.

Что на земле сравнится с охотничьей радостью,

Чей кубок жизни так богато искрится?

Вторая очередь.

Длиннее.

Она прошивает пространство там, где я только что стоял.

Нет, не уклоняюсь, не бегу от пуль я.

Идут сквозь них.

Лежать в зелени под звуки рогов,

Преследовать оленя через чащу и пруд —

Это княжеская радость, это мужская страсть,

Это укрепляет члены и приправляет трапезу.

Гремят взрывы.

Настало гранатам время.

Осколки с визгом врезаются в камни.

Когда леса и скалы окружают нас эхом,

Звонче и радостней звучит полный кубок!

Йо-хо! Тра-ля-ля-ля!

Я уж рядом.

Soldato противостоянием надежде умереть своей не позволяют.

Мне жаль – всё тщетно.

Не убиты, нет, но и крови, боли всё ж мной роздано сверх меры.

Стыдно мне в который раз.

И тут – о, чудо!

Юнец из камня меч доставши, снова в бой идёт.

О, чудо, о, виденье!

Храбрец нашёлся, оказавшийся достойным.

Его я обнял, похвалил.

На том и бой наш был окончен.

- Марко, всё же вам, людям, ещё немного нужно подрасти прежде чем бросать вам вызов монстрам. Но не грусти ты, мальчик мой, ты не печалься – дам вам я это время, и за героем новым, рожденье которого застал, пригляжу.

Не слушал друг меня, волок мои останки, чтоб заново из тела мёртвого меня создать, костюмом новым, совершенным, уродства скрыть.

Не нужны мне были все поэты мира этого, Лоскутного, собравшиеся под сводами собора, чтобы красоту невесты моей описать, ведь совершенством была она, и этим больше сказано, чем словами выразить, кто сможет. И статуи ангелов, святых молчали с восхищение, людям позволяя речь вести.

Друзья мои, приятели сидели здесь: не перед Истинным одним венчанью будет свидетельство.

Священник текст положенный читает.

Стоит она.

Стою и я.

И тут громом средь ясна неба:

- Я – Каталина Монтезини, последний представитель и наследница семьи Монтезини – я отказываюсь от венчания с доном Адамо.

Не знаю, что сказать, слова пропали.

Как поведать ей о том, что только клятвы даны меж нами будут, уйду и в край свой, оставив жизнь ей, начатую с чистого листа, как делал я то много раз.

Томим любовною тоской, как мог помыслить я о большем?

О нет.

Живым людям с людьми другими жить, не с монстром же в лице моём ужасном.

- У меня можно отобрать всё: семью, свободу, разум, но у меня всё равно останется то, что никто и никогда не сможет отобрать. Мои честь и гордость. И поэтому говорю вам вновь: я отказываюсь от венчания с доном Адамо.

Удар страшнее пули Breda M1931.

Отказ.

- Что ж да будет так. – к людям обращаюсь. – Но помнят все, что вины в убийствах нет её, и препон в жизни никто чинить не будет.

- Семьz Рицотти претензий не имеет. Уговор мы не нарушим. L'onore prima di tutto. – сказал дон Леонардо.

- Большего не нужно.

Я – ушёл.

Сижу у старого фонтана.

Не первый раз мне отказано в любви.

Но клянусь – этот будет раз последний.

Сердце своё я глупое смирю.

Искать не буду любовное я счастье, а жить я буду.

Вот – клянусь.

Есть у меня друзья, есть предназначенье.

Есть целый мир людской, твореньях их бесценны, и феи, и много кто ещё.

И музыка, картины, песни, и книги обо всём.

Есть целым мир, данный в ощущеньях мне и счастье.

Богатств не счесть мне в нём.

А что любовь?

Не всем дано то счастье – это следует признать, и жить мне дальше.

Но что за шум?

Иссох давно фонтан – молчать он должен.

Шаги?

Она.

- Дон Адамо, вы не дослушали меня.

- К чему слова? Зачем вам длить мои страданья? Роль исполнена моя – живите дальше.

- Я – Каталина Монтезини – я не приму венчанье как спасенье.

- Я понял всё, не беспокойтесь. Мои мечты и мысли – лишь моя беда, моё томленье. И стыдно мне, поверьте стыдно, за поведение моё.

- Вы вновь не дослушали меня.

- Прошу простить мне многословность. Она как щит. Она лишь мне сейчас спасеньем.

- Я не приму венчанье как спасенье, но узнать получше вас я рада.

- Право и не знаю я, что теперь сказать, что делать…

- Пригласите меня в дом к себе, а по дороге о себе немного расскажите, mio signore glorioso.

И улыбка на лице, как обещанье будущего счастья.